**ПАНТЕОН**

**Игорь ЗОЛОТУССКИЙ**

**Струна в тумане**

**Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познаёт,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полёт.**  
Н.Языков

**Это статья о двух, может быть, самых загадочных гениях русской литературы. Один заставлял нас громко смеяться, но в осадок смеха выпадали слезы. Другой более склонялся к сарказму, к анализу боли сознания, к “хождениям души по мытарствам”.**

**Судьба распорядилась так, что в истории литературы (и русской истории вообще) они стоят рядом, и строптивый наследник, “принимая дела” у своего предшественника, желает освободиться от связывающих их уз. Но, как это и бывает между “отцами” и “детьми”, не может их порвать.**

**Ничто великое не уходит в прошлое, а продолжается в ином великом. Но их встреча — всегда драма, конфликт, полемика.**

Первая трагическая страница в судьбе Достоевского связана с Гоголем. Вот что гласил приговор военно-судной комиссии по делу петрашевцев:

“Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте сего года из Москвы от дворянина Плещеева... копию с преступного письма литератора Белинского, — читал это письмо в собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского. А потому военный суд приговорил его за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского... лишить на основании Свода военных постановлений... чинов и всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием”.

Что писал Белинский Гоголю? Он стыдил его и обличал. Стыдил за желание угодить правительству, обличал за оправдание крепостного права: “Нельзя перенести оскорблённого чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель”.

Достоевский в то время разделял этот взгляд Белинского. Иначе он не читал бы с пафосом его письма к Гоголю.

Спустя десять лет в повести “Село Степанчиково и его обитатели”, являющейся пародией на “Выбранные места из переписки с друзьями”, он выведет тип ханжи и брюзги Фомы Опискина. И этот персонаж в своих фарисейских речах станет на каждом шагу цитировать эту книгу.

В завещании, предпосланном “Выбранным местам”, Гоголь писал: “Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе”.

А вот текст Достоевского:

“О, не ставьте мне монумента! — кричал Фома, — не ставьте мне его! Не надо мне монументов! В сердцах своих воздвигните мне монумент! А больше ничего не надо, не надо, не надо!”

И не знал автор этой карикатуры, что в ответе Белинскому Гоголь уже упредил его. Он заявил в нём почти все будущие идеи и темы Достоевского. Он предрёк и появление “Бесов”, “Преступления и наказания”, “Братьев Карамазовых”. О чём эти романы? О том, что истина с Христом, а не с социализмом.

“Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и грабить тех, кто нажил состояние?”

Можно подумать, что это цитата из “Бесов”. На самом деле это пассаж из ответа Гоголя Белинскому.

Поворот молодого Достоевского к позднему Гоголю был уже близок, но ему предстояло пройти через смертный приговор, отмену казни и четыре года каторги.

Поразительно, что герой второго тома “Мёртвых душ” Тентетников, по молодости оказавшийся в некоем тайном обществе, как и сам Достоевский (и его герой Алёша Карамазов), должен был за свои убеждения попасть в Сибирь.

Гоголь задолго до Достоевского осознал опасность увлечения молодежи социалистическими идеями и в “Выбранных местах”, а затем в споре с Белинским резко высказался на этот счёт.

И именно эта книга, как и возникшая вокруг неё переписка, стали роковыми в судьбе Достоевского.

Но начало спора его с Гоголем находилось не здесь.

Гоголь был кумир Достоевского с детских лет. Его книги и его портрет сопровождали Достоевского всюду. В тот вечер, когда он передал Некрасову рукопись “Бедных людей” — своей первой повести, то “пошёл к одному товарищу куда-то далеко”, “мы всю ночь проговорили с ним о “Мёртвых душах” и читали их, в который раз — не помню. Тогда это бывало между молодёжью: сойдутся двое или трое: “А не почитать ли нам, господа, Гоголя? — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь””.

Читать-то читали, но в “Бедных людях” повесть Гоголя “Шинель” названа “пашквилем”. Герой её Макар Девушкин навещает живущего по соседству литератора Ратазяева и слушает в его исполнении сочинение, почерк которого нельзя не узнать: “Знаете ли вы Ивана Прокофьевича Желтопуза? Ну, вот тот самый, что укусил за ногу Прокофия Ивановича. Иван Прокофьевич человек крутого характера, но зато редких добродетелей; напротив того, Прокофий Иванович чрезвычайно любит редьку с мёдом. Вот когда ещё была с ним знакома Пелагея Игнатьевна… а вы знаете Пелагею Игнатьевну? Ну, вот та самая, которая всегда юбку надевает наизнанку”.

По поводу этого пассажа Макар Девушкин замечает: “Оно хоть и немного затейливо и уж слишком игриво, но зато невинно, без малейшего вольнодумства и либеральных мыслей”.

В этом кратком комментарии — упрёк молодого “социалиста” Достоевского политически нейтральному Гоголю.

В “Записках из подполья” Достоевский описывает одно из мечтаний своего героя, который представляет, как он отомстит и насолит своим обидчикам, превратившись из коллежского асессора в Наполеона. Тут, несомненно, пародия на гоголевского “испанского короля”. В воображаемом его торжестве прощупываются все сюжеты “Записок сумасшедшего”: и “фантастическая любовь”, и преображение в особу царской крови, и отмщение тем, кто его унижал.

И вместе с тем тут не одна повесть Гоголя, но, скажем, и “Выбранные места из переписки с друзьями”, “Игроки”, “Рим” и так далее.

Как Наполеон, “подпольный” разбивает ретроградов под Аустерлицем (кстати, брат Наполеона Жозеф с 1808 по 1813 год был королем Испании), а затем действие переносится в милую Гоголю Италию. Ещё до этого герой Достоевского является самому себе “на белом коне” и “в лавровом венке” и “поёт итальянские арии”. А в Риме в честь своих побед он даёт “бал для всей Италии на вилле Боргезе” — в непосредственной близости от того места, где снимал свою первую квартиру Гоголь. Пародийный текст Достоевского прозрачно включает в себя гоголевские словечки и метафоры, без усилия относящие нас к первоисточнику.

Зло осмеян сам идеал автора “Выбранных мест”, идеал “прекрасного и высокого”. Достоевский с меткостью замечает, как этот идеал повисает у его предшественника в воздухе и не в состоянии приложиться “ни к чему человеческому на деле”. А оттого ищет убежища в “совсем готовых” формах, “сильно украденных у поэтов и романистов”.

И чем сильнее его “подпольный” раскаляется, тем бесспорней делается факт, что автор “Записок” пишет карикатуру на Гоголя, в частности на открывающую его книгу главу “Завещание”.

Читаем в “Записках из подполья”:

“Я... над всеми торжествую; все, разумеется, во прахе и принуждены добровольно признать все мои совершенства, а я всех их прощаю. Я влюбляюсь, будучи знаменитым поэтом и камергером (ходили слухи, что Гоголь своей книгой хочет прислужиться двору. — **И.З.**); получаю несметные миллионы и тотчас же жертвую их на род человеческий (Гоголь отдал гонорар за “Мёртвые души” бедным студентам. — **И.З.**) и тут же исповедываюсь перед всем народом в моих позорах (у Гоголя: “Не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства...” — **И.З.**), которые, разумеется, не просто позоры, а заключают в себе чрезвычайно много “прекрасного и высокого”, чего-то манфредовского”.

Одно это “чего-то манфредовского” наводит нас на источник, откуда герой Достоевского черпает желчь и яд. Собачкин в гоголевском “Отрывке” хвастает, что у него иной раз появляется “даже что-то значительное в лице”. “Жаль только, что зубы скверные, — добавляет он, — а то бы вовсе был похож на Багратиона”. Хлестаков уверен, что в его глазах “есть что-то такое, что внушает робость”. А про “гусара” Глова Утешительный в “Игроках” говорит: “Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-тольевское что-то видно”.

“Все плачут и целуют меня, — продолжает “подпольный”, — а я иду босой и голодный проповедовать новые идеи”. Ни дать ни взять Гоголь, который в “Выбранных местах” писал о пользе бедности и о том, что у него ничего нет, кроме походного чемодана.

В предисловии к своей книге, которая стала мишенью для злейшей пародии в “Селе Степанчикове и его обитателях”, Гоголь не раз просит прощения у читателя, в свою очередь прощая тех, кто его обидел. И вдруг в его ищущую милости интонацию врывается звук, очень сходный с музыкальным мотивом “Записок из подполья”. Он пишет: “Никто в такую минуту (то есть в минуту его покаяния. — **И.З.**) не посмеет не простить своего брата… *не должен посметь не простить меня*”.

Гордыня и ещё раз гордыня (основная черта героя Достоевского) слышится в этой проскрипции.

Слова “Я завещаю” и “Я возвещаю” соединяются на страницах “Завещания”, давая подпольному человеку повод для самоиронии. Достоевский мастерски использует этот стилистический просчёт для компрометации “высокого и прекрасного”. Тем более что автор “Выбранных мест” заканчивает главу “Завещание” прозаическим даже не пожеланием, а указанием: “Завещание моё немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях”. Это и есть: “Я торжествую, все во прахе”, что Достоевский вкладывает в уста своего Наполеона–Манфреда.

Если ещё вспомнить, что главным антагонистом “антигероя” Достоевского является офицер по фамилии Зверков, то невольно приходит на ум, что фамилия эта взята неспроста, ибо также имеет отношение к Гоголю. В доме Зверкова — на углу Столярного переулка и набережной Екатерининского канала — тот жил в 1829–1831 годах, и там же квартирует приятель сумасшедшего Поприщина, который “играет на трубе”.

Заметим, что помимо иных сближений есть у героев “Записок сумасшедшего” и “Записок из подполья” одно капитальное сходство — оба они писатели. Об этом свидетельствуют как их “Записки”, так и повесть “подпольного”, которая была отвергнута журналом “Отечественные записки”. Именно в этом журнале, порвав с “Современником”, стал печататься молодой Достоевский.

Что же означают все эти совпадения, намёки, обмолвки и прицельный огонь автора “Записок из подполья” по автору “Записок сумасшедшего”?

Кровную зависимость Достоевского от Гоголя. Начав свою первую печатную вещь с пародии на “Шинель”, а также на стиль Гоголя в целом, Достоевский публикует “Село Степанчиково и его обитатели” (1859), а через пять лет (год создания “Записок из подполья”) вновь использует образы Гоголя и его публицистику для демонстрации а) своей зависимости и б) своей независимости от постоянно давящего на него авторитета великого творца “побасёнок”. Тут именно художественное давление, поэтические путы, от которых не может не желать освободиться “иной гений”. Необыкновенный интерес автора “Записок из подполья” к герою “Записок сумасшедшего” как к типу, а также к форме исповеди, к которой прибегает в этой повести Гоголь. У Гоголя “Записки сумасшедшего” в этом смысле стоят особняком. Во всех его сочинениях события излагает сам автор и право на исповедь имеет только он. У Достоевского — фейерверк исповедей, превалирующая над всеми другими форма повествования.

Наконец, сумасшествие титулярного советника Поприщина есть предвестие анализа болезни сознания у Достоевского, сказавшего, что “слишком сознавать — это болезнь”. Это анализ хаоса сознания, столкновения “противоположных элементов” и “безумия”, овладевших человеком идей.

\* \* \*

Успех “Бедных людей” вскружил Достоевскому голову. В.Н. Майков писал: “В ноябре и декабре 1845 года все литературные дилетанты ловили и перебрасывали отрадную новость о появлении нового огромного таланта. “Не хуже Гоголя”, кричали одни; “лучше Гоголя”, подхватывали другие; “Гоголь убит”, вопили третьи”.

Вокруг раздавалось: “Новый Гоголь явился!”

Но “новый Гоголь” вовсе не хотел быть тенью “старого” Гоголя.

Достоевский писал брату Михаилу: “Во мне находят новую, оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь ж берёт прямо целое и оттого не так глубок, как я”.

В разговоре с И.С. Тургеневым он был ещё более резок, сказав, что ему никто не страшен и дай только время, он всех их в грязь затопчет. Речь шла в том числе и о Гоголе.

Но минет два года, и Достоевский уйдёт на каторгу совсем с другим настроением. Стоя на эшафоте на Семёновском плацу и ещё не зная об отмене смертного приговора, он скажет Спешневу: “Мы будем с Христом”. Он уже разошёлся с Белинским, прежде всего в пункте о Христе, которого тот “ругал по-матерну”.

\* \* \*

Странные совпадения устраивает иногда судьба. Дом, где 23 апреля 1849 года был арестован Достоевский, стоит в двух шагах от дома Лепена по Малой Морской, где с 1833 по 1836 год жил творец “Ревизора” и где “Ревизор” был написан.

Но не эта аристократическая Адмиралтейская часть станет местом, где завяжутся трагические и трагикомические сюжеты Гоголя и Достоевского. Родина их фантазии — “канава” (так называли тогда Екатерининский канал), Мещанские улицы, Сенная площадь и прилегающие к ним переулки, дворы и толкучие рынки.

В сентябре 1861 года, после возвращения с каторги, Достоевский поселится на Малой Мещанской улице, где, переезжая с квартиры на квартиру, проживёт без малого шесть лет. Этот район знаком ему с 1846 года, когда он снимал квартиру на Большой Мещанской, в доме Кохендорфа, в двух шагах от дома, где в начале 1829 года обитал тогда никому не известный Гоголь.

Он писал здесь “Вечера”, но в воображении его уже рисовались типы обитателей петербургских чердаков. Он и поселит их здесь, в петле Мещанских улиц, из которой им уже, кажется, не вырваться, как бы высоко ни взлетала их мечта.

Впрочем, мечта мечте рознь.

Здесь в “плохоньком трактиришке” студент Раскольников, жаждущий сравняться с Наполеоном, подслушает разговор, который озвучит его тайные помыслы:

“С одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная и, напротив, всем вредная, которая сама не знает, зачем живёт, и которая завтра сама же собой умрёт... С другой стороны, молодые свежие силы, пропадающие даром без поддержки, и это тысячами, и это всюду! Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые можно поправить на старухины деньги, обречённые в монастырь!.. Убей её и возьми её деньги, с тем чтобы с их помощью посвятить себя на служение всему человечеству...”

Идея Раскольникова о том, что через убийство можно прийти к счастливому будущему, — это уже *новый вид мечтательности*, даже в безумии никогда не посещавшей героев Гоголя, кстати таких же бедняков, как и Раскольников. Но их разделяет эпоха. Эпоху романтизма сменяет эпоха терроризма, когда “романтическая” идея окрашивается кровью.

Известно, как был потрясён Достоевский событием, происшедшим 4 апреля 1866 года. Студент Каракозов стрелял в царя. Когда его схватили, при нем было обнаружено:   
1) фунт пороха и пять пуль,   
2) стеклянный пузырёк с синильной кислотой, порошок в два грана стрихнина и восемь порошков морфия.  
С помощью этих ядов он должен был или обезобразить себе лицо, чтоб остаться неузнанным, или покончить с собой. По существу, это был первый русский террорист-камикадзе.

Студент-террорист исходил из той же посылки, что и Раскольников. Примечательно, что роман “Преступление и наказание” начал печататься в “Русском вестнике” за три месяца до выстрела Каракозова. Трагические сюжеты литературы вышли за пределы печатного листа и сделались трагической реальностью.

Романтики Гоголя могли мечтать о том, чтобы приобрести новую шинель, сорвать куш в картах, жениться на красавице, они могли грезить даже о королевской мантии, но им и в страшном сне не могли присниться такие сюжеты.

Есть среди них плуты, пройдохи, отчаянные лгуны, даже сумасшедшие, но убийц, раскраивавших черепа старушкам, у Гоголя нет.

Каракозов и Раскольников дети уже другого века — века Достоевского, в котором “гордость ума” смыкается с уголовщиной. Тут не обида Акакия Акакиевича и не детские фантазии Поприщина или Чичикова, тут*“страшная месть” “маленького человека”*.

Только колдун в гоголевской “Страшной мести” способен был зарезать внука, дочь и святого схимника, но он — герой сказки, оборотень, вампир.

У Достоевского это человек улицы, подвала, человек толпы. Эпоха Достоевского — это эпоха кризиса*поэтического* романтизма и перехода его в *материалистический* (или революционный) романтизм.

Зачем наведывается в Столярный переулок гоголевский титулярный советник? Чтоб выкрасть переписку собачек и узнать из неё что-то из жизни обожаемой генеральской дочки. Никакого разврата воображения, никакой *мысли о топоре*. Только жалкий вопль: “Почему я не камер-юнкер и не генерал? Почему я титулярный советник?”

Герой Гоголя и сам бы хотел стать генералом, герой Достоевского желает — ни больше ни меньше — встать над Богом. “Свету ли провалиться, — вопрошает он, — или мне вот чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай пить”.

Существует миф, легенда, апокриф, приписывающие Достоевскому слова: “Все мы вышли из гоголевской “Шинели””. Он этого не говорил. Он, конечно, вышел из гоголевской “Шинели”, но не только и не столько из неё, сколько *из всего*Гоголя, в том числе и из осмеянной им “Переписки”. Будущие подпольные теоретики Достоевского угаданы именно в этой книге.

Вот характеристика, данная Гоголем главной болезни, которой больны нигилисты Достоевского: “Всё вынесет человек века, над всем позволит посмеяться — только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня... Ничему и ни во что он не верит, только верит в один ум свой... И тень христианского смирения не может к нему прикоснуться из-за гордыни ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, в правде, в Боге усумнится, но не усумнится в уме своём... Нет, не чувственные страсти, но *страсти ума* уж начались. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованьем выгнали злобу из мира, *злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир — дорогой ума”* (курсив мой. — **И.З.**).

Кто герои романов Достоевского, как не страсти ума или идеи, обретшие человеческий облик?

Гоголь страшился спуститься на самое дно “душевной черноты”. Достоевский это делает. Он сходит со своим фонарём в её глубину. Его анализ пробивает слои темноты, составляющие фантастический мир подполья. То, с чего начинает Гоголь, Достоевский превращает в науку высвечивания тайн сердца: “Надо изображать действительность, как она есть, говорят они, тогда как такой действительности совсем нет... Нам знакомо одно лишь насущное, видимо-текущее, да и то по наглядке, а концы и начала — это всё ещё пока для человека фантастическое”.

Отрываясь от Гоголя, уходя дальше, он не расстаётся с учителем ни на минуту: его письма, страницы его книг полны цитатами из “Ревизора” и “Мёртвых душ”. Он, наконец, играет в пьесах Гоголя, изображая то почтмейстера Шпекина, то несостоявшегося жениха Подколесина.

Почему он выбирает эти роли?

Потому что они оглушительно смешны, потому что “чистый смех” Гоголя, как выражался Достоевский, здесь представлен в совершенстве. Позже он писал: “Явилась смеющаяся маска Гоголя, со страшным могуществом смеха — с могуществом, не выражавшимся так сильно ещё никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создавалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым он бы не мог смеяться”.

Достоевский относил писания Гоголя к *сатире*. Позволим себе не согласиться с ним. Не соглашался с такой трактовкой и сам Гоголь. “Я думал, как дитя, я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь, — признавался он в “Авторской исповеди” (1848). — Я не знал ещё тогда, что моё имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья”.

То не был провокаторский смех Лебедева из “Идиота” или подстрекающее “хи-хи-хи” Порфирия Петровича, заставившее Раскольникова признаться в убийстве. Смех Гоголя был смех старой эпохи, когда ирония безверия ещё не восторжествовала в России.

Достоевский не дожил до 1 марта 1881 года. В этот день на “канаве”, где прогуливался когда-то сентиментальный герой “Белых ночей”, была убита не какая-то старушка, а царь Александр II. Романтики-декабристы не решились посягнуть на жизнь венценосца, романтики-материалисты не дрогнули.

Вздрогнула и разорвалась на части, как бомба Гриневицкого, юношеская мечта Достоевского, которую он сам попрал, заплатив за неё каторгой.

Почему-то никто в 2001 году не вспомнил об этой дате. Никто не упомянул, что сто двадцать лет назад сбылись худшие пророчества двух гениев. И никто не сказал, что оставшийся целым после взрыва первой бомбы царь не бежал с места события, а вышел из кареты, чтоб помочь раненым.

Он, может быть, был последний поэтический романтик на троне, этот царь. С его смертью в России настали кровавые времена. Последовала череда политических убийств на идейной почве, которые приняли масштаб тотального уничтожения народа.

Сравним два памятника — Гоголю Н.Андреева и Достоевскому С.Меркурова — в Москве. Если на лице Гоголя безраздельная печаль, то в фигуре Достоевского — судорога, почти эпилептический приступ. И не одни собственные грехи или собственная вина (а они их чувствовали) исказили их черты, а грехи всех нас.

Сколько было досады у ученика на учителя, сколько язвящих реплик он отпустил по его адресу, говоря, что тот надел “золотой фрак” и “не вынес своего величия”, но с годами всё скрепилось нерасторжимой связью.

Отзываясь о повести Тургенева “Призраки”, Достоевский писал: “Есть тоска развитого и сознающего существа, живущего в наше время. *Это* *струна звенит в тумане*. И хорошо делает, что звенит”.

Откуда эта струна? Она звенит в финале “Записок сумасшедшего”. Она звенит, как ответ неба на призыв “испанского короля” спасти его. Это музыка любви, чей звук всегда сопутствовал смеху Гоголя.

21 февраля 1852 года в 8 часов утра Гоголь умирает. Его хоронят на кладбище Данилова монастыря. Достоевский в это время в омском остроге.

Так и не встретились они никогда. Так и разошлись, прожив на земле бок о бок тридцать лет и не увидев друг друга в лицо.

Но зато как мощно прогремели их сливающиеся голоса! Их трагические сюжеты выстроились как трагический сюжет России, блуждающей по путям греха.

И пусть она всё ещё не сошла с этих путей. Но струна в тумане звенит и для неё.

**Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ.**